

**БОРЬБА С ИНАКОМЫСЛИЕМ В СССР  
(НА ПРИМЕРЕ ДИСКУССИЙ КОНЦА 1940 –  
НАЧАЛА 1950-Х ГГ.)**

Вопрос о перспективах послевоенного развития, о потенциале послевоенных перемен, о тех общественных силах, которые могли быть не только заинтересованы в подобных переменах, но и смогли бы их инициировать, всегда вызывал интерес у историков. В 1948 г. был положен конец послевоенным колебаниям руководства относительно выбора «мягкого» или «жесткого» курса страны. Представления о единстве общества и его абсолютной преданности Сталину превращались в иллюзию, так как слишком велика была пропасть между народом и властью. Не все соотечественники торопились демонстрировать «верноподданность» Вождю. Это Сталин знал. Но не знал, насколько опасным, в том числе и для него лично, становилось начинающееся противостояние. До открытого протеста дело не доходило, но брожение умов было реальностью, которую подтверждали сводки о настроениях разных категорий населения.

С началом «холодной войны» Сталин утратил позиции первого политика мира, которым он себя чувствовал после победы в Великой Отечественной войне. Оставалась только Восточная Европа, правители которой уже начали строить свою жизнь по образу и подобию «старшего брата». Речь шла, по сути, об унификации внутренних режимов этих стран согласно советскому образцу, что и зафиксировали материалы первого заседания Информбюро 1947 г. Однако не всех восточноевропейских руководителей устраивало подобное подчиненное положение и силовое давление со стороны Советского Союза. «Об этом нигде не писалось, – вспоминал известный югославский ученый и политик М. Джидас, – но я помню из доверительных бесед, что в странах Восточной Европы – в Польше, Румынии, Венгрии – была тенденция к самостоятельному развитию. Приведу пример. В 1946 г. я был на съезде чехословацкой партии в Праге. Там Готвальд говорил, что уровень культуры Чехословакии и Советского Союза различный. Он подчеркивал, что Чехословакия – промышленно развитая страна, и социализм в ней будет развиваться иначе, в более

цивилизованных формах, без тех потрясений, которые были в Советском Союзе... Готвальд выступил против коллективизации в Чехословакии. Готвальду не хватило характера для борьбы со Сталиным. А Тито был сильным человеком» [1]. Кульминацией процесса роста разногласий между СССР и странами Восточной Европы стала советско-югославская встреча в Москве в феврале 1948 г., после которой последовал разрыв между Сталиным и Тито. Для Сталина это было поражением.

Это обстоятельство не могло не отразиться на внутренней жизни страны Советов. Имея оппозицию на международном уровне, Сталин не мог допустить теперь даже зародыша ее у себя в стране. Последствия международного фиаско и обстановка «холодной войны» по-своему повлияли на развитие внутренней карательной кампании, придав ей внешнюю форму борьбы с западничеством, или – по терминологии тех лет – «низкопоклонством». В качестве носителей «иностранного» начала были выбраны советские евреи. Наиболее известны два процесса – дело Еврейского антифашистского комитета (1948–1952 гг.) и «дело врачей» (1953 г.), организованные по образцу судилищ 1920–1930-х гг.

Но «космополитами» новый виток террора не ограничился. Репрессиям подверглись практически все категории населения, которые могли претендовать на роль потенциально оппозиционных. 1948 г. — рост потока «повторников», т.е. людей, осужденных еще до войны, затем амнистированных или отбывших срок наказания. Среди них было много бывших фронтовиков. Прошли суды над членами молодежных групп. Ужесточался режим в лагерях и спецпоселениях.

26 ноября 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об уголовной ответственности за побег из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Великой Отечественной войны». Этим указом спецпереселенцы утверждались в своем статусе навечно, т.е. становились вечными изгоями. За побег с места поселения им полагалось наказание – 20 лет каторжных работ. Лица, виновные в укрывательстве бежавших спецпоселенцев или способствующие их побегу, подлежали привлечению к уголовной ответственности и наказанию лишением свободы на 5 лет [2].

В стране началась «кадровая революция». Первый удар приняла на себя ленинградская партийная организация. В ходе «ленинградского дела» (1949–1952 гг.) были репрессированы многие партийные и хозяйственные руководители, работавшие в Ленинграде: А.А. Кузнецов, М.И. Родионов, П.С. Попков, Я.Ф. Капустин, П.Г. Лазутин. Было освобождено от работы свыше 2 тыс. чел. Аналогичный погром готовился и для московских коммунистов. Военные и хозяйственные кадры стали фигурантами «дела авиационных работников» и «дела Госплана» (по нему был репрессирован Н.А. Вознесенский).

Волна шпиономании и поиска «вредителей», как в 1930-е гг., грозила захлестнуть страну. И все-таки 1948-й г. не стал точной копией 1937 г. Репрессии 1948-го не пошли по пути больших показательных процессов, как было это десять лет назад.

Процессы конца 1920-х и 1930-х гг. носили политический характер. Сталин боролся с реальной оппозицией своей абсолютной власти – сторонниками Троцкого, Бухарина, разного рода уклонистами. Самые сильные конкуренты были уничтожены физически, их сподвижники либо закончили жизнь в лагерях, либо вернулись из мест заключения старыми больными людьми. Политических противников такого уровня после войны у Сталина не было. Само общество и государственные структуры были другими.

Исследуя сущность террора на примере политики царского правительства, русский психолог А.Н. Войтоловский писал: «Добиваясь победы над противником, царское правительство прежде всего стремилось парализовать во враждебных ему общественных группах способность к повышенной и соборной (коллективной) отзывчивости. В этом вся подавляющая сила террора и репрессий. Ибо цель всякого классового террора отнюдь не в мести и не в изъятии одиночек. Задача террора – оглушить коллективную чувствительность врага, посеять в его рядах асоциальность, вычеркнуть из арсенала его политических средств способность повышено откликаться на явления общественной жизни» [3].

Роль пробного камня в истории борьбы с инакомыслием конца 1940 – начала 1950-х гг. выполнили две кампании, одна из которых была организована вокруг журналов «Звезда» и «Ленинград», а другая – по поводу выхода учебника Г.Ф. Александрова «История западноевропейской философии». Выбор

на ленинградских писателей пал не случайно. Репутация «вольного» города и, возможно, старые счеты Жданова с ленинградской интеллигенцией во многом предопределили объект будущих нападков. Вся организация этой кампании свелась, по сути, к выступлению Жданова и постановлению ЦК ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», которые для всех идеологических работников становились руководством к действию.

Несколько иной сценарий был применен в отношении философов. Здесь объекту была предоставлена известная свобода действий, видимость которой позволила придать кампании идеологического давления внешне привлекательную демократическую форму. Так в нашей политической практике возник особый феномен – творческие дискуссии.

Во всей философской дискуссии изначально присутствовал любопытный нюанс: в качестве объекта нападения выступал человек, чья книга незадолго перед этим была удостоена Сталинской премии. В декабре 1946 г. в адрес учебника Г.Ф. Александрова Сталин сделал серьезные замечания. Трудно сказать, попала книга в руки Сталина случайно или здесь имел место умысел, но в последующих кампаниях «замечания Сталина» станут уже необходимым атрибутом организации дискуссий. В случае с учебником Александрова по замечаниям Сталина было решено провести дискуссию, состоявшуюся в январе 1947 г. Но философы, не обладавшие еще опытом проведения подобных кампаний, видимо, не оценили фактора политического значения, который наверху придавался философской дискуссии.

ЦК остался недоволен и назначил повторную дискуссию, для которой уже был разработан специальный сценарий. Главный смысл дискуссии по поводу учебника Александрова сводился к тому, что в ходе ее была фактически отработана стандартная модель организации борьбы с инакомыслием и насаждением идеологического монизма. Форма дискуссии представлялась очень удобной – из-за своего внешнего демократизма и соответствия популярным лозунгам критики и самокритики. Внешне привлекательная оболочка сыграла роль политической ширмы, за которой разыгрывалось действие обратного свойства, где, как справедливо заметил философ Ю. Фурманов, «сила аргументов подменялась аргументом силы» [4].

Учебник Александрова, посвященный проблемам западно-европейской философии, был очень удобной мишенью для апробации основных подходов борьбы с «низкопоклонством». Философия была отнесена к ведению Центрального Комитета партии, который становился руководящим центром общественных наук. Ученым отводилась роль комментаторов решений, принятых партийными лидерами.

Кто ошибался, должен был публично покаяться. Это выглядело следующим образом: «Я вполне сознаю, – писал в июле 1947 г. Александров Сталину и Жданову, – что не поправь меня Центральный Комитет по теоретическим вопросам, мало пользы было бы от меня, как профессионального философа для партии... Философская дискуссия и особенно глубокое, сильное выступление товарища Жданова зарядили философских работников огромной большевистской страстью, вызвали у всех у нас рвение, искреннее стремление покончить со старыми приемами, навыками в научной, публицистической и организаторской работе, делать быстрее, лучше, боевее наше партийное дело» [5].

На этом уровне замысел Жданова, можно сказать, удался. Философы сделали правильные выводы. Предстояло теперь отработать механизм трансляции принятых решений, т.е. направить дискуссию вниз. И это оказалось самым сложным. Люди, которым предстояло доводить политические решения до народа, оказывались некомпетентными. С этим фактом столкнулись уполномоченные ЦК, выезжающие с проверками состояния политико-пропагандистской работы. Немалая часть партийных агитаторов и пропагандистов (причем не только рядовых, но и руководителей отделов пропаганды и агитации райкомов) не имели элементарного представления о том, какие решения принимаются наверху, не знали, что происходит в стране и в мире [6]. Приведем ответы на вопросы уполномоченных ЦК к работникам райкомов.

Беседа первая:

«1. Что читаете из политической литературы? – Первый том товарища Сталина.

2. Что прочитали из этого тома? – Забыл, не могу вспомнить, не отвечу.

3. Что еще читаете? – О буржуазных теориях товарища Александрова читал.

4. О каких буржуазных теориях? – Кажется, об идеалистических.

5. Что читаете из художественной литературы? – Читаю «Ивана Грозного», это книга нашего писателя. Мне не нравится эта книга. О народе в ней говорится хорошо, а вот из буржуазии, капиталистов там нет ни одного хорошего человека. В этом году больше ничего не читал» [7].

Беседа вторая:

«1. Читали Вы доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград»? – Нет, этого доклада я не читал.

2. Какими последними решениями ЦК ВКП (б) Вы руководствуетесь в своей работе? – Не могу Вам сейчас назвать.

3. Какие политические партии Вы знаете в Англии? – Не помню.

4. Кто возглавляет правительство в Югославии? – Не помню, или в Югославии, или в Болгарии у правительства Тито» [8].

На уровне рядовых агитаторов дело обстояло еще хуже:

«1. Назовите высший орган власти в СССР. – Рабочий класс, ЦК, РКК, ВКП(б).

2. Кем работает товарищ Сталин? – У него много должностей, не могу сказать.

3. Кто глава советского правительства? – Не знаю.

4. Кем работает товарищ Молотов? – Он ездит за границу.

5. Что происходит в Греции? – Банда воюет с рабочим классом» [9].

Эти документы в силу своей выразительности не нуждаются в каких-либо дополнительных комментариях. В то время они были подробно проанализированы. ЦК принял ряд мер в целях исправления создавшейся ситуации. Первым делом взялись за укрепление системы партийных школ и курсов. В 1947 г. в стране насчитывалось всего около 60 тыс. политшкол, в них обучалось 800 тыс. чел. Всего за год количество школ увеличилось до 122 тыс., а число обучающихся в них достигло более 1,5 млн чел. Также в два раза увеличилось число кружков, изучающих историю партии, – с 45,5 тыс. в 1947 г. до 88 тыс. в 1948, соответственно увеличилось количество слушателей этих кружков – с 846 тыс. до 1,2 млн чел. [10]

В августе 1948 г. сессия ВАСХНИЛ завершила долголетнюю дискуссию биологов. В мае–августе 1950 г. прошла дис-

куссия по проблемам языкознания, а в конце 1951 г. – по проблемам политэкономии социализма. Все эти дискуссии развивались по отработанному сценарию и были организованы сверху. Однако приписывать их полностью инициативе центра все же нельзя. Власть использовала и реальные стремления, существующие в духовной послевоенной жизни общества. Потребность широкого обсуждения проблем, рожденных войной, и вопросов послевоенного бытия тревожила интеллигенцию. Общественному мнению нужна была трибуна, чтобы обсудить эти наиболее важные вопросы, поэтому профессиональная дискуссия была вполне подходящим поводом для реализации такой потребности. Не случайно почти все дискуссии охватывали более широкий круг проблем, чем предусматривал первоначальный предмет обсуждения. Одним из первых эту особенность профессиональных дискуссий отметил К. Симонов, когда он подводил итоги дискуссии по проблемам литературной критики 1948 г. Он вынужден был признать, «что содержание дискуссии определяла не столько «критика критики», сколько более общий анализ литературного процесса и общественной жизни в целом» [11].

Литература вообще относится к той сфере художественного творчества, в которой, как в зеркале, отражаются проблемы реального бытия. Поэтому рассуждения о «болезнях» литературы – это мысли и о недугах живого общества. Чтобы понять это, достаточно, например, вслушаться в тревожные раздумья О. Берггольц на дискуссии о поэзии в марте 1948 г. «Благополучие, констатация этого благополучного состояния, внешнего и внутреннего, – вот что, – по словам О. Берггольц, – стало губительным для поэзии послевоенных лет. – Но благополучие не может быть материалом поэзии, с него может или начинаться что-то, или им может кончаться произведение, а само по себе оно, как материя, неподвижно. Это противоречит той действительности и драматизму нашей действительности, в которой мы живем» [12]. В этих словах схвачена суть общественного конфликта конца 1940-х гг., нашедшего свое художественное выражение в попытках скрыть за внешне благополучным фасадом трудноразрешимые общественные проблемы. Осмысление подобных проблем могло придать дискуссиям совсем нежелательный для власти поворот.

Чтобы этого не произошло, дискуссии нуждались в прикрытии мощным авторитетом, который взял бы на себя

функцию главного арбитра. Еще в 1930-е гг. Сталин громил своих противников, используя авторитет ленинского курса, истинность которого не могла быть подвергнута сомнению. Похожую позицию заняли Лысенко и его сторонники, выбрав для защиты своих позиций имя Мичурина. Однако ссылки на мичуринское учение, удобные для демонстрации патриотизма в условиях борьбы с космополитизмом, не могли служить достаточно надежным щитом от научных доводов оппонентов. Для создания такого рода щита необходим был авторитет человека, чье мнение обсуждению не подлежит, поскольку всегда является единственно правильным. В огромной стране таким мнением обладал только один человек – Сталин. Логика функционирования абсолютной власти предопределила дальнейший ход событий: у Сталина не было иного пути, как сделаться «великим философом», «великим экономистом», «великим языковедом» и т.д. Поскольку механизмы борьбы с инакомыслием в качестве опорной конструкции предполагали высший авторитет, авторитет должен был произнести свое Слово. Слово авторитета становилось поворотным моментом дискуссии. Вмешательство Сталина предопределило победу лысенковцев, дало нужное направление экономической дискуссии и дискуссии по проблемам языкознания.

Это не значит, что до этого времени Сталин стоял в стороне от дискуссий, он скорее находился в положении наблюдателя и внимательно следил за ходом событий. В дискуссии о языке статья А.С. Чикобавы, направленная против теории Н.Я. Марра, была написана, как известно, непосредственно по поручению Сталина. Этим было положено начало всей дискуссии. Состояние научной общественности на тот момент, думается, хорошо передает письмо филолога Л.Ф. Денисовой в редакцию «Правды»: «Среди языковедов царит небывалое брожение умов, – писала Л.Ф. Денисова. – Одни – главным образом старые враги Марра – говорят: «Ну, и, слава богу, что наконец-то и на Марра нашелся настоящий критик». Другие прямо заявляют, что теперь они «поворачиваются на 180 градусов», хотя недавно еще эти товарищи были яркими марровцами... Третьи боятся высказать свои убеждения, опасаясь, что за Чикобавой стоят мнения более авторитетных товарищей, поэтому как бы им не попасть впросак... Если бы редакция «Правды» могла каким-то образом рассеять эти опасения, убедить товарищей в том, что дискуссия носит дейст-



вительно открытый характер и за ней не последуют возможные неприятности, то это послужило бы стимулом к настоящему разворачиванию дискуссии» [13].

В 1950 г., когда началась дискуссия о языке, многие стали уже осторожнее в высказывании оценок и суждений. Годы физического и идеологического террора не прошли бесследно. Во всяком случае, опасения неприятностей нельзя отнести к категории беспочвенных. И еще немаловажная деталь: весь ход дискуссии по проблемам языкознания убеждает, что людей уже приучили ждать высшего мнения, сверяя по нему свое собственное.

Высшее мнение прозвучало, когда в июне–августе 1950 г. в «Правде» появились три статьи Станина, посвященные этой дискуссии. А вслед за ними последовала цепная реакция со стороны марристов, отказывающихся от своих взглядов. «Правда» получала уже не письма, а срочные телеграммы: «В мою дискуссионную статью прошу внести срочные коррективы следующего содержания: в любом классовом обществе язык является не классовым, а общенародным. Остальное остается в силе»; «Прошу не публиковать мою статью по вопросам дискуссии и возвратить обратно»; «После статьи товарища Сталина отказываюсь от основных положений своей статьи, прошу ее не публиковать»; «Прошу задержать мою статью «За полный разгром идеалистов и метафизиков в языкознании»... Считаю эту статью ошибочной и вредной»; «После гениальной статьи тов. Сталина необходимость опубликования моей статьи отпадает»; «Статью к лингвистической дискуссии не печатайте. На днях высылаю новую» [14].

На примере дискуссии о языке можно проследить, насколько эффективно действовал механизм социальной демагогии, особенно если во главе становился Сталин. Вера в Слово Вождя превращала людей в пленников фразы – и таких были не единицы: «Иосиф Виссарионович! – обращался к Сталину студент филологического факультета МГУ. – Ваше выступление по вопросам советского языкознания явилось для меня самым значительным событием за последние пять лет в области науки... Ваше выступление против «аракчеевского» режима в науке вдохновит тысячи наших ученых и студентов старших курсов на поиски нового, нужного... Оно заставит творчески мыслить, а не жить начетнически стрижкой классиков марксизма на цитаты... То, что Вы всегда в курсе всех дел нашей

страны – это вдохновляет... Желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья. А успехи с Вами у нас всегда будут» [15].

С этим письмом перекликается другое, написанное студенткой филологического факультета ЛГУ: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Вы научили нас любить правду больше жизни. Мы выросли в обществе, которое построено и развивается под Вашим руководством. Мы воспитывались по Вашим книгам и статьям. Мы научились верить Вам, Иосиф Виссарионович, больше, чем себе! Каждое Ваше слово мы чтим, как святыню» [16]. Интересным представляется то, что некоторые моменты сталинской статьи по вопросам языковедческой дискуссии вызвали у студентки трудности в понимании чисто профессионального свойства. В строчках письма чувствуется смущение автора за свою «непонятливость», но все-таки она решилась написать: «Хочу не просто верить Вам, хочу быть убежденной в справедливости каждого Вашего слова» [17].

Само Слово Вождя не подвергается сомнению, но слепая вера в его истинность, как свидетельствует это письмо, где-то на уровне подсознания ощущается как недостаточная. Помимо веры нужна убежденность, основанная на знании, а это уже переход с эмоционального на рациональный уровень. Цитированное письмо студентки – это лишь единичная иллюстрация подобного сдвига, который постепенно оформлялся в тенденцию развития общественного сознания.

Процесс этот на рубеже 1940–1950-х гг. не стал массовым, хотя события 1948–1952 гг. для многих советских людей стали временем утраты иллюзии о том, что сталинский режим способен к какой-либо трансформации либерального типа. Конечно, кого-то могли ввести в заблуждение слова Сталина о необходимости покончить с монополизмом в науке, о борьбе с «аракчеевским режимом». Но тот, кто за словесной оболочкой умел распознавать сущность процесса, уже не мог обмануться фразой. Уже имелся опыт разгрома генетиков в 1948 г., тоже проходившего под флагом борьбы с монополизмом. Однако вся дискуссионная кампания была рассчитана не на думающих, а на тех, кто привык не рассуждать, а принимать к сведению. Таких людей было большинство. Это большинство все и решало. Общество, подготовленное психологически к кампании террора, в массе своей на удивление легковерно восприняло и версию о происках безродных космополитов, и о врачах-вредителях; не увлекаясь существом дискуссионных полемик.

Оно в то же время готово было осудить признанные «вредными» философские, биологические, экономические и какие угодно другие взгляды.

Состояние общественной атмосферы начала 1950-х гг. наиболее ярко передает массовая реакция на «дело врачей». Проблемы медицины и охраны здоровья, в отличие от научных тем, затрагивали интересы каждого. После сообщения ТАСС об аресте группы «врачей-вредителей», – вспоминал один из участников этого дела известный советский профессор А.Л. Рапопорт, – «в обывательской среде распространялись слухи один нелепее другого, включая «достоверные» сведения о том, что во многих родильных домах были умерщвлены новорожденные или что некий больной умер непосредственно после визита врача, тут же, естественно, арестованного и расстрелянного. Резко упало посещение поликлиник, пустовали аптеки. В Контрольный институт, где я тогда работал, пришла молодая женщина и принесла для исследования пустой флакон из-под пеницилина. Ее ребенок был болен воспалением легких, и после приема пеницилина его состояние, по словам матери, резко ухудшилось. Аллергические реакции на антибиотики были в то время довольно частым явлением, но она приписала эту реакцию действию яда, якобы содержащегося в пеницилине, заявив при этом, что прекращает какое-либо лечение ребенка вообще. Когда же я сказал, что этим она обрекает ребенка на гибель, то в ответ услышал: пусть умирает от болезни, но не от яда, который я даю ему своими руками» [18].

Подобным образом нагнеталась атмосфера массовой истерии, а общество, доведенное до такого состояния, становилось легко управляемым. Идеологическая обработка умов с помощью организованных дискуссий и должна была выполнить роль такого рода средства. Однако атмосфера массового психоза давила своей эмоциональной агрессивностью, подчиняя рациональное – чувственному. В результате этого грань между откровенным террором и идеологическим диктатом часто становилась едва различимой, а угроза расправы, вполне реальная, заслоняла собой аргументы разума. Процесс был настолько тотальным, что публичные покаяния сделались нормой жизни. Не надо думать, что всеми владел страх. Он, конечно, присутствовал, однако, сильнее страха было, осознание отсутствия перспектив борьбы. Если считать, что, организуя дискуссии,

власти добивались именно этого результата, то он был достигнут.

Вместе с тем история дискуссионных кампаний продемонстрировала не только силу правящего режима, но и его слабости. Одна из них, например, способность властей доводить любое решение до абсурда. И тогда уже шахтеры обязаны были заниматься обсуждением проблем генетики, а колхозники – изучать статьи Сталина по проблемам языка. У Ф. Абрамова в романе «Пути-перепутья» есть эпизод, в котором главный герой, председатель колхоза Лукашин, попадает на одно из совещаний в районе по вопросам языкознания. «Все теперь были заняты изучением этих трудов (работ Сталина). Они появились в «Правде» как раз в сенокос. И вот вызвали на районное совещание. Зал был забит до отказа, некуда сесть. А Фокин хоть по бумажке читал, но читал зажигающе. Последние слова докладчика Лукашин расслышал с трудом – они потонули в шквале аплодисментов, да ему теперь было и не до них. Хотелось поскорее в парткабинет, хотелось самому своими глазами почитать. Прочитал. Посмотрел в окно – там шел дождь, посмотрел на Сталина в мундире генералиссимуса и начал читать снова: раз это программа партии и народа на ближайшие годы, то должен он хоть что-то понять в этой программе. Несколько успокоился Лукашин после того, как поговорил с Подрезовым. Подрезов словами не играл. И на вопрос, какие выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, председателям колхозов, ответил прямо: «Вкалывать» [19].

Помимо организации всенародного обсуждения, кампании 1940–1950-х гг. испытывали и другие существенные трудности. Они требовали больших затрат. Увеличилась нагрузка на центральный аппарат. ЦК определял, какие книги советские люди должны читать, какие фильмы смотреть, какие грампластинки слушать.

Из массовых библиотек и книготорговой сети изымались книги, которые, по мнению цензуры, не представляли научной и литературной ценности и были засорены фамилиями, цитатами из статей и статьями врагов народа [20]. Подготавливались специальные списки запрещенной литературы, которые утверждались ЦК ВКП (б). А вот такие фильмы было рекомендовано смотреть нашим согражданам в 1950 г.: «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Великое зарево», «Падение Бер-

лина», «Сталинградская битва», «Академик Иван Павлов», «Ян Райнис», «Константин Заслонов», «Встреча на Эльбе», «Повесть о настоящем человеке», «Мичурин», «Суд чести», «Путь славы», «Великий гражданин», «Трилогия о Максиме», «Человек с ружьем», «Здравствуй, Москва!», «Зоя», «Клятва», «Член правительства», «Сельская учительница», «Русский вопрос», «Депутат Балтики», «Светлый путь», «Сказание о земле Сибирской», «Чапаев», «Молодая гвардия», «Возвращение с победой» [21].

Наряду со списками запрещенной литературы, Главлит занялся составлением подобных списков театральных пьес, подлежащих снятию с репертуара. Постановлением Совета Министров СССР от 28 августа 1951 г. упразднялись органы Главреперткома, а функции контроля над произведениями искусства возлагались на органы цензуры. Чуть позднее появились списки запрещенных грампластинок [22].

В июле 1952 г. Президиум Совета Министров СССР подготовил проект постановления об укреплении местных органов цензуры, который предусматривал увеличение штата районных органов Главлита, а также введение должности освобожденных цензоров взамен работающих по совместительству [23]. Нагрузка на органы цензуры росла, с мест шли предложения о необходимости увеличить зарплату цензорам в связи с увеличением объема работы. Высказывались даже мнения о целесообразности перевода органов цензуры в ведение Министерства государственной безопасности СССР [24]. Последнее предложение не было принято, но появление его не случайно, оно показывает, в каком направлении в последние годы жизни Сталина развивалась внутренняя политика руководства страны.

Ставка на тотальный контроль неизбежно усиливала влияние МГБ – МВД. Руководство страны оказалось в сложном положении, так как в развитии чрезвычайных государственных органов наступал критический предел, перешагнув который, сами высшие власти легко могли оказаться в положении таких же поднадзорных объектов, как и рядовые граждане. Поэтому курс на усиление контрольно-карательных функций государства не был абсолютным. В данном случае сыграло свою роль не только чувство самосохранения верхов, но и действие законов предельной эффективности применения чрезвычайных мер.

### Примечания

1. Цит. по: Все мы вышли из сталинской шинели. Дискуссия о событиях 1948 года и их последствиях // Литературная газета. 1990. 21 марта. С. 14.
2. Земсков В.Н. Спецпоселенцы // Социологические исследования. 1990. № 11. С. 9.
3. Войтоловский Л.Н. Очерки коллективной психологии. В 2 ч. Ч. 2. С.75.
4. Фурманов Ю. Уроки одной дискуссии // Советская культура. 1988. 12 марта.
5. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп.125. Д. 492. Л. 2.
6. РГАСПИ. Ф. 17. Оп.125. Д. 516. Л.172.
7. Там же. Л. 27.
8. Там же. Л. 28.
9. Там же. Л.172.
10. Там же. Л. 2, 103.
11. За большевистскую партийность литературной критики // Новый мир. 1948. № 12. С.193.
12. РГАСПИ. Ф.17. Оп. 125. Д. 518. Л. 76.
13. РГАСПИ. Ф. 17. Оп.132. Д. 337. Л. 287.
14. Там же. Л. 32, 33, 47.
15. Там же. Л. 16.
16. Там же. Л. 10.
17. Там же. Л. 15.
18. Рапопорт Я. Воспоминания о «деле врачей» // Дружба народов. 1988. № 4. С. 224.
19. Абрамов. Ф.А. Пряслины. Трилогия. Л., 1978. С.491–492.
20. РГАСПИ. Ф. 17. Оп.132. Д. 550. Л. 113.
21. Там же. Л. 291, 47.
22. Там же. Л. 162, 550.
23. Там же. Л. 115.
24. Там же. Л. 169.

С.Д. Багдасарян (Сочи)

### К ВОПРОСУ О ТЕРРОРИЗМЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Проблема национальной безопасности как предмет научных исследований обрела остроту и востребованность с середины 1990-х гг. Российских ученых в настоящее время интересует прежде всего то, что именно отражает национальная безопасность – цели и политику государства, потребности